



В. В. РОЗАНОВ

Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о непротивлении злу (1896)

В обществе ходит (по крайней мере, в Петербурге) новое произведение гр. Л. Н. Толстого — письмо его к г. Кросби¹. «My dear Crosby» — это обращение, оставленное без перевода, служит как бы заглавием русского текста небольшой, страниц в 10 малого формата, статьи. Не только подпись автора и обозначение «1896 год», но также внутреннее содержание письма, и особенно слог его, не оставляют сомнения, что мы имеем в нем действительно позднейший труд гр. Толстого. Оно могло бы — за исключением, впрочем, немногих строк, почти только отдельных выражений — появиться в печати. Его язык — умерен, изложение — спокойно; в общем оно производит впечатление гораздо лучшее, нежели многие из последних писаний знаменитого моралиста.

I

Его тема — «непротивление» злу, разъяснения этого доказательства; Толстой отвергает здесь известный, выставляемый ему пример: что стал бы он делать, видя разбойника, готового убить младенца? Он называет этот пример фантастическим и самое придумывание подобных примеров относит к нашей нравственной лениности, которая, в нежелании исполнить Евангельское слово, укрывается за невозможные случаи. В общем, нельзя не признать этот упрек справедливым; но, именно в общем же, чего он хочет? чего достигает?

«Любите друг друга», «будьте милосердны», «прощайте обиды» — кто этого не знает? Это — учение Церкви. Нужно *так* эти слова сказать, нужно иметь *силу*, нужно владеть *умением* так

выговорить их, чтобы люди действительно, бросив дела свои, обратились каждый к делам милосердия, любви, прощения обид. Говорит ли так Толстой? бегут ли люди за ним, хотя бы так, как за Иоанном Кронштадтским, стекаются ли к нему с таким доверием, как стекались к о. Амвросию Оптинскому?² Нет. Он — литератор, *только* литератор. Он не пророк, он не священник. И в этом вся тайна. Мы слабы, дурны; мы знаем слово Божие и не исполняем его. Нужно, чтобы кто-нибудь расплавил кору порока около наших душ; чтобы кто-нибудь коснулся души нашей отяжелелой и окрылил ее к добру, которое *теоретически* она знает, практически немоцна исполнить. В силу лежащего на них священства, *некоторых* и в *некоторой* степени окрыляли к этому добру Иоанн Кронштадтский и Амвросий Оптинский; никого не окрылил Толстой. Он увеличил массу разговоров на эти темы; вызвал множество печати, и без того чрезмерной; он произвел повторение и повторение теорий, которые, может быть, потому так и недействительны, что слишком обволоклись словами, в своем роде — отяжелели под изукрашающим словом и не умеют дойти до души. Во всяком случае, ни нового, ни значительного тут нет.

Но он говорит: «*Не противься злему*; никогда, ни в каком случае всякий да не противится» (письмо к г. Кросби). Действительно, тут есть новизна, но есть ли истина? Прежде всего, слова эти в Евангелии есть ли завет главный, универсальный, все собою покрывающий, на котором «висят Писание и пророки», как это указано нам в известных словах относительно любви к Богу и любви к ближнему? Нет, Толстой понял как единственную почти для себя заповедь или, по крайней мере, как заповедь главную, как основу своему учению, — слова совершенно простые, без особенного в них значения, кроме того, какое принадлежит всякому слову И<исуса> Христа. «Я же говорю вам: не противься злему» — ничего еще не значит, кроме увещания: при встрече со злым, сварливым человеком, с человеком неуступчивым, задорным — уступи ему, не раздражай своего сердца, не оспаривай его и, в пределах возможного, не нарушая других верховных заветов, сделай даже вид, что ты с ним согласен. Но, Боже, неужели Спаситель хотел сказать, что — что бы вы ни увидели, какая бы мерзость перед вами ни происходила, — выткнув покорно руки, пожалуй, сложив эти руки пассивно, вы говорили бы в душе своей: «*Не противлюсь злему* и есмь праведен». Какая клевета! какая клевета на самого Спасителя! И неужели, неужели, если бы Спаситель ставил это высочайшею заповедью, в Евангелии не было бы это оттенено, указано, как-нибудь выра-

жено, как ясно выражено, точно оговорено верховенство заповедей о любви к Богу, о любви к ближнему.

Таким образом, что касается слов Спасителя, на которых Толстой пытается основать свое учение, он, без всякого на то указания в Евангелии, понял их усиленно, чрезмерно; он поработил все Евангелие одной строке в нем; он, вместо того чтобы ясно и спокойно читать это Евангелие от начала и до конца, берет карандаши красный, зеленый, синий и с усилием все новым и новым, с раздражением все большим и большим подчеркивает одну строку и, поднимая взор на людей, гневно спрашивает: «Видите ли?». — Да, видим; и в меру сил своих не противимся злему, а когда противимся, считаем это за грех и искушение и впредь ему пытаемся не поддавать. Чего он требует еще? В меру того, насколько в словах его есть истина, — они исполнены не по его требованию, но по учению Церкви, и не исполнены только в той части своей, в которой представляют исключительность и превеличение и перестают быть истиной.

II

Толкуя как верховную и исключительную заповедь совершенных простые слова Спасителя, промежуточно сказанные, — Толстой, в том же письме к г. Кросби, лишает какой-либо силы целый евангельский рассказ, принимая его за случайный эпизод, без всякого руководящего и указующего значения. Мы разумеем изгнание торгующих из храма³. Это уже не одна строка, это — страница; это не слово, но акт, деяние; это — *первое* деяние И<исуса> Христа, когда он выступил на общественное служение, и невольно мысль наша останавливается на нем. Можно ли отвергнуть, что Спаситель не имел ничего указать нам им, что евангелистами внесен этот акт на страницы Нового Завета случайно, по старческой памяти, которая и важное и неважное одинаково заносит на страницы летописи? Смеем ли мы так думать об Евангелии? Однако почти так думает об этом Толстой, в кратких словах оговаривая, что Спаситель, при этом «оружия не употреблял», что Он «не бил». Он взял «бич», и изгоняемые вышли; он их *понудил* выйти; и слова: «Дом Отца моего не делайте домом торговли» — так же святы для христианина, как святы (истинно святы) и слова: «Не противься злему». Но те слова о несопротивлении были сказаны позднее; раньше, чем раскрыть свое учение, Он указал, что в месте святом не должно быть несвятое. Вот завет, и он связуем с заповедью, верховенство которой огово-

рено в Евангелии: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всем помышлением твоим; возлюби ближнего, как самого себя». — Да, возлюби Бога — это первое, это абсолютное; ранее этой любви еще ничего не началось в тебе, ты еще не христианин, и нечего тебе спрашивать о других заповедях, помышлять об их исполнении. Ты возлюбил Бога, ты Его крепко держишь в сердце? — теперь возлюби ближнего силою Божией, которая сообщена тебе через исполнение первой заповеди: как *самого себя*, то есть менее, чем Бога, под условием неослабления к Нему любви. Ты это исполнил; теперь взгляни вокруг себя: не осквернен ли святой храм делами, в нем неуместными, не дурными в самих себе, позволительными за оградю храма, но в самом храме недопустимыми? И это сделано? Итак, радость в сердце твоём, мир вокруг тебя: теперь — не противься злему. В веселии сердца своего прости заушение, какое нанесут тебе, и обними врага своего; все это — уже малое, то есть мала твоя обида, ничтожна, презрена, не обращай на нее внимания. Вот ясный евангельский путь, вот ступени требуемого от человека, если понимать Евангелие не как компактную массу слов, если различать в нем первое и второе, господствующее и подчиненное, или точнее — поясняющее.

III

Толстой исключает вовсе *деятельную* любовь, он закрывает от людей мысль, проходящую через все страницы евангелистов. Он убеждает: *будем любить друг друга*. Но как? но через что? но в чем обнаруживая и доказывая эту любовь? Неужели, если мы рассядемся по стульям и будем пылать взаимною любовью — пусть это возможно, — мы уже можем подумать, что завет евангельский исполнен нами, и вознести Богу молитву фарисея: «Благодарим Тебя! мы уже не таковы, как прежде и как теперь иные», еще продолжающие сопротивляться злу. И какая бы мерзость перед нами ни совершалась, что бы *между* стульями у нас ни произошло, пусть это будет кровь, насилие, растление, каждый из нас, видя все и беспокойно пошевеливаясь на своем сидении, не смел бы, однако, под страхом сейчас же перестать быть христианином, спустить ноги на пол и побежать к чужому горю, против чужого злодеяния. Какая мерзость! какое запустение жизни! какое понимание Евангелия! И как, наконец, мы узнаем, что «истинные христиане» еще пылают любовью? Может быть — они спокойно дремлют; при невозможности двинуться — они и непременно задремлют; они устанут *говорить*; к чему их пригла-

шает Толстой, что единственно он допускает как средство *противления злу*. Эта словесность, эта всепоглощающая словесность, которая потянется на новое тысячелетие, на тысячелетие нового понимания Евангелия, — станет, наконец, невыносима, отвратительна; никто ей не будет внимать, зная, что никакого действия за нею не последует и не может последовать; и, конечно, после некоторого употребления недействующего орудия — все перестанут его употреблять. И что за странность: может быть, я *не умею* убеждать? Я косноязычен — нет? я так непривлекателен лицом, что всякий, взглянув на меня, — засмеется и отвернется? Средства убеждения мои — так же бедны, как у Акима из «Власти тьмы»⁴ перед сонмом образованных сотрудников «Вестника Европы»?⁵ Что *ему* делать? что *мне* делать? что делать *нам* всем? А ведь доброе, благое сердце нудит и нас к деланию. «*Убеждайте* разбойника, стоящего над младенцем... — пишет Толстой в письме к г. Кросби, — он может удержаться тогда». Но вот же сам он, со всем духом своим, при всем совершенстве, не убедил даже ближайших своих родных последовать своему учению, — как же можем мы, без всяких даров, подействовать даже на разбойника, и притом так скоро, что, подняв нож, — прежде чем его опустить, он уже станет другим человеком?

IV

«*Не противься злumu...*» Но ведь в Евангелии не сказано: *оружием, бичом*. Быть может, вовсе не нужно противиться злumu, т. е. не употреблять против него и убеждения? Если Толстой так озабочен исполнением евангельских слов, если никакой *своей* мысли он не преследует, если только боится не исполнить волю Божию, — зачем он не понимает выражающего ее слова полно, без прибавлений, без убавлений? «*Не противься злumu*», т. е. вовсе оставь думать о нем, предоставь злу совершаться по законам природы физической, природы человеческой или, наконец, по усмотрению Божию: большого не лечи, от града и засухи полей не берегай и, наконец, когда торговец-кулак хочет обмануть тебя при покупке леса, — обмана его не замечай и ни в каком случае его не обнаруживай. *Не противься злumu* — когда это народное бедствие; но ведь Толстой едва ли не помогал голодающим? *Не противься злumu* — когда это твое бедствие; но ведь он призвал медиков, когда у него прошлую весну умирал маленький сын? *Не противься злumu*, когда люди не понимают, что — зло и что — добро; но он же пишет сам, т. е. в пределах сил своих и понима-

ния противится существующему злу. Но вот он оговаривает: противься, но не касаясь *кожи* человека, *тела* его. Почему? Это в Евангелии не сказано! Это — телесное понимание зла вопреки духовному, евангельскому. В Евангелии прямо сказано: «Если глаз твой соблазняет тебя, если соблазняет тебя рука твоя — вырви глаз, отсеки руку свою» (Мк. 9, 43–47); и сказано также: «Возлюби ближнего, как *самого себя*», т. е. *по подобию себя*. Слишком ясно, что сопротивление злу насильем не только допущено в Евангелии, но и прямо указано, требуется. Кого же Толстой хочет обмануть? как можно поддаться этому обману? «Истинно, истинно говорю вам: если кто *соблазнит* единого от малых сих, верующих в Меня, лучше было бы, если бы камень повис на шее его и пучина морская поглотила его»⁶. Это — слишком страшно; «лучше было бы» — до того духовное зло соблазна представляется страшным. И еще бы: в Евангелии на все вещи брошен взгляд из вечности; а мы на самую вечность смотрим с точки зрения неболящей спины. Боль, которая протянется до завтра, заключение в тюрьму на сентябрь и октябрь месяц — заставляют забывать нас и небо и землю. Это — так страшно: ни в сентябре, ни в октябре я не увижу милой Аркадии; так страшно, что все будут смеяться над моей экзекуцией. Нет, уж лучше я отрекись от Бога; нет, уж Бог с ней и с Церковью, только бы меня не высекли. Какая мерзость! какое низкое падение человека! И Толстой сочувствует ему, влечет туда же человека.

V

Всегда мне представлялись загадочными и смущающими слова Спасителя, сказанные в ответ на упрек ученикам его, почему они не постятся, как ученики Иоанновы: «Могут ли, — сказал Христос, — поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених — не могут поститься. Но *приидут дни, когда отнимется у них жених; и тогда будут поститься в те дни*» (Мк. 2, 19–20): «Доколе...» — Он сказал; «приидут другие дни, когда люди будут поститься», — прибавил Он. И еще в другой раз Он сказал: «*Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку с свекровью ее. И враг человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, — недостоиен Меня; и кто любит сына или дочь более Меня, — недостоиен Меня. И кто не берет креста своего, и следует за Мною, — тот недостоиен Меня*» (Мф.

9, 34–38)⁷. В последних словах указана Спасителем цель своего пришествия; но сказано с печалью и о последствиях, какие вытекут из этого пришествия по слабости человеческой, по необходимости греховной и злой его воле. И как слова любви и милосердия текут по всем страницам евангелистов, эти же страницы пронизывает и угроза: в прямых словах, как приведенные, и в притчах. Но все грозное и печальное, всякая нужда и скорбь — отнесены к будущему. Пока Спаситель был между людей, когда «жених был в чертоге брачном», естественное и необходимое в другое время, необходимое и нужное во всякие дни — на эти *особенные* дни было отменено. Для всех остальных дней, кроме Спасителя пришествия на землю, дан завет: даже от отца, даже от матери, не говоря уже о других «ближних», отделиться, если эти «ближние» и родные отделяются от Христа или в чем-нибудь Его учению противоборствуют; принять крест на себя, т. е. страдание, и нести его до победы при Константине Великом⁸, и исполняет весь христианский мир — до этого века блудливого и неверного, который на словах Спасителя думает основать борьбу против Него, направляя меч против Евангелия, им же обороняется, как щитом.

VI

«*Не противься злему*» — и Толстой понимает это как несопротивление и *злу* вообще. Но кто есть *первый* злой? Отвергнем ли мы, что вовсе не человек со своим слабым соизволением, но иной и могущественнейший стоит за ним и влечет его к злу? Мы не отвергаем Бога и Божие в человеке; не отвергая в человеке и демонического, отвергнем ли мы того, именем кого называем темные влечения в нем? Кому же Толстой указывает человеку не противиться? с кем пытается убедить нас умерить, смягчить борьбу? Он пишет, в том же письме к г. Кросби, что «физически не может, не в состоянии присутствовать» в суде, «осудить ближнего». Он так добр — верим ему. Но так ли он рассудителен? Ему представляется суд как некоторое таскание осужденных на веревке в темницу, и он от этого грязного и жестокого дела отказывается. Но зачем же учил он в Яснополянской школе, когда и училище можно определить как место, где дети наказываются. Он взял побочную сторону предмета и определил предмет через нее, упустив сущность. Его в суд зовут *рассудить* дело, а не осудить человека; помочь людям разобраться между множеством известных и неизвестных данных и сказать, по разумению, сло-

во правды. Это — правое, святое дело. Можно жалеть о публичности судов и выставлении без вины на позор людей, человека, который, быть может, будет оправдан; о театральности, о состязании в красноречии; вообще, святая идея суда и наказания у нас утрачена, да и не юристы — деятели «святых дел», а они, к сожалению, были устроителями суда. Но, повторяем, в основе своей — это идея святая и необходимая; и Бог будет судить людей, а уж Ему ли бы не простить, Он ли не благ, не человеколюбец? Но идея суда необходима не божественному милосердию, но человеческому достоинству. Животных не судят; их бьют или, еще чаще, прощают. Человек один подлежит суду, и только утратив в себе все человеческие черты, он откажется от права своего, от высокого преимущества — быть судимым. В помиловании он нуждается, милосердия он ищет; но не ищет бессудности — и помилование возможно после доказанной вины, милосердие может быть оказано уличенному и обвиненному. Идея греха глубочайшим образом завита в наказание и суд, — и удивительно, как чистые юристы, как только юристы призваны были у нас сперва к организации, а теперь к реорганизации судебных учреждений: это — показатель, что совесть уже утрачивается нами и мы понимаем только удобства и неудобства *правило*-нарушений, за них одних судим, без всякого ужаса перед грехом, без всякой святости негодования против него. Через суд и воздаяние человек ранее, чем подойдет под Вечный суд и осуждение, к нему приготавливается: чтобы ответить легче там, он хочет бояться и удерживаться здесь. Вот полная идея суда. Человек борется — прежде всего со злом в себе; а потом — и со злом в другом, помогая ему. В целой своей жизни, во всей истории — он борется божественными силами, в нем заключенными («Божией искрой», как прекрасно усвоено у нас), против сил демонических. Церковь и суд — краеугольные камни этой борьбы. Церковь влечет нас к Богу; она не нудит; она в себе самой, в святости своего научения, в благодатных своих дарах содержит источник великого притяжения, и сильнейшие из нас тяготеют к добру только через нее. Есть, однако, между нами слабейшие, в которых демоническое властнее, Божеская искра вот-вот погаснет. Их без призора оставить — безжалостно; нужно поддерживать в них этот гаснущий огонь. И именно потому, что он гаснет — они не внимают более слову; их не влечет та сила, которая для лучших достаточна. Эта крупинка железа так мала, что ее не влечет магнит, и она носится ветром туда и сюда. Дурно ли поставить для нее преграды в этом движении; ограничить в идее и слове (*закон*) для нее свободу? И, наконец, в самую эмоцию движений, во внутренний порыв —

примешать ограничивающий и смущающий страх? Вот идея наказаний, вот оправдание суда. Влеку ли я к добру, отталкиваю ли от зла, и равно творю благое. Так творит и человек, история, имея Церковь, учреждая суд.

VII

Толстой хотел бы энергировать человека, вынуть из него все страстные эмоции. Он именно хочет погасить в нас искру, которую затеплил Спаситель. Разве Иоанн был бездеятелен? разве Петр не был пылок? И Он *избрал* их, то есть Он нашел, что свойство живой деятельности и пылкого сердца особенно отвечают, как восприимчивая почва, семени, которое Он пришел бросить в человека. Петр отсек ухо воину, пришедшему с другими в числе стражи взять Учителя; Спаситель приставил ухо и исцелил раненого, — ибо то, для чего Он пришел на землю, должно было совершиться, да и воин, пришедший сюда не по своей воле, не был ни в чем виновен. Но однако же Петр *отсек*, — таково было его *первое* движение; Иаков и Иоанн *хотели* низвести огонь на самарянское селение, которое не впустило к себе Иисуса, как иудея, идущего в Иерусалим⁹. А они были не худшие, Христос не избрал себе в ученики лукавых, порочных, злых. Но негодование не есть проявление зла в человеке, а часто — правды; и наказание не есть злое действие, а часто праведное. Христос входил в общение с мытарами; однако он не вошел в общение с фарисеями. Мытари были внешне унижены, но они были чисты сердцем; они сознавали грехи свои, они каялись. Таковых возлюбил Христос. Но Он и юношу богатого — *отпустил*, книжников и лицемеров — не искал *привлечь*. Та, не заключающая в себе никаких внутренних разграничений «любовь», тот *звук* любви, который мы произносим, — и он естественно касается всех, никого не обходит, — не из Евангелия. Это не та любовь, которая нам заповедана Спасителем. Любовь ищет, разглядывает; любовь часто гневается, иногда негодует; она иногда даже наказывает. Но эта «любовь», которая нам проповедуется со страниц журналов? которую несет и Толстой людям? Отчего она так мало жжет? так мало утешает даже несущих ее, — как утешает истинная любовь? Она не ласкает, не возбуждает, она — *мертва*. Отчего это? какая тут тайна? Нет *любящего* сердца: это — риторическая любовь конца XIX века, искусственный цветок, сделанный в подражание живому, который умер.

Проповедь Толстого не имеет и так же не будет иметь действия, как попытка г. Вл. Соловьева способствовать соединению Церквей; не по отсутствию надобности в этом, но по отсутствию способностей к этому в инициаторах обоих движений, полурелигиозного и полупереховного. Если бы кто-нибудь явился с Запада ли, на Восток ли с равною любовью к разделившимся Церквам, с горем мучительным об этом разделении, со слезами, с ночами без сна, с убеждением к людям, молитвою к Богу, если бы в порочную толпу нас вошел кто-нибудь с даром истинной благодатной любви, если бы не оратора мы видели перед собою и не литератора, если бы перед нами явился *святой*, то есть Богу угодный человек, и к этому нас позвал — Божие дело совершилось бы. Такого ждем; дело, ими предпринятое, — не отрицаем; их — не отвергаем.

P. S. Я только что прочел (в мартовской книжке «Северного вестника») биографию Ницше, писанную лицом, его близко знавшим, и которая была им лично просмотрена¹⁰, — и ввиду все возрастающего внимания к этому философу не могу удержаться, чтобы не сказать о нем нескольких слов.

Стрелка испорченных часов может делать какие угодно любопытные движения, но она не может показывать *время*; Ницше, в течение 14 лет медленно сходявший с ума (наследственная болезнь) и в эти именно годы написавший свои сочинения, мог написать в них много любопытного, но все это любопытное имеет тот недостаток в себе, что оно — *не истинно*.

Кажется, это неоспоримо; и кажется, этого достаточно, чтобы удержать *ищущих истину* от изучения его сочинений. Заблуждаться же можно многими способами, на многие манеры, и между ними есть тот, который нашел Ницше и который зовут, без всякого на то права, его «философией». Ибо самой идеи *знания*, самого усилия к *правильному* в мысли у него не было; и как он, так и труды его, — даже не лежат в той общей *категории*, куда мы относим родственные факты «науки», «философии», «знания», «понимания».

